

Виталий Закруткин

Матерь человеческая (фрагмент)

Эту женщину я не мог, не имел права забыть.

Нелегкая ее жизнь, чистая душа, характер, глубокий и добрый, наконец, то, как в полном одиночестве пережила она те страшные месяцы, которые стали для нее великим испытанием, — все это было мне известно, и я не забывал ее. Но потом отмеченные кровавыми боями последние годы войны, трудные походы по чужим землям, ранение, госпиталь, возвращение в разоренную врагами родную станицу, потеря близких, дорогих моему сердцу людей стерли, размыли в памяти образ этой женщины, и черты ее забылись, словно растаяли в белесой пелене утреннего тумана над захладовавшей осенней рекой...

Прошли годы... И вот однажды в древнем прикарпатском городе, куда я приехал по просьбе старого фронтового друга, мне вдруг вспомнилось все, что я знал о женщине, которую не смел забыть.

Получилось это так. Каждое утро, до восхода солнца, я выходил на прогулку: бродил по пустынным аллеям векового парка, медленно поднимался по крутому склону высокого холма, который местные жители именовали Княжьей горой. Там, на вершине холма, присев на железную скамью, я любовался старым городом. Озаренный желто-розовыми солнечными лучами, повитый легкой, призрачной дымкой, город являл собой живую картину человеческой жизни на протяжении семи веков; руины древних замков, полуразрушенные стены монастырей, украшенные позолотой иезуитские, бернардинские и доминиканские костелы, ветхие деревянные церквушки и мрачные соборы, островерхие, крытые красной черепицей дома и остатки тронутых мшистой прозеленью пороховых башен, узкие, кривые переулки и широкие площади, бронзовые статуи на гранитных постаментах, радужные фонтаны, парки и кладбища — запечатленные многими людскими поколениями памятники их жизни — вызывали молчаливое раздумье, мысли о вечном, неотвратимом течении времени...

Неподалеку от скамьи, на которой я обычно сидел, рос раскидистый клен, а у клена белела ноздреватая, источенная

дождями каменная ниша. В нише стояло изваяние мадонны с младенцем на руках. И мадонна и пухлощекий ее младенец были ярко и грубо раскрашены масляной краской. На темноволосой голове мадонны красовался серый от пыли восковой веноч, а у ног ее, на каменном карнизе, постоянно лежали свежие, обрызганные водой живые цветы: белые и алые гладиолусы, светло-голубые флоксы, несколько зеленых веток папоротника.

Цветы приносили двое дряхлых стариков — мужчина и женщина. На вершине Княжьей горы они появлялись раньше меня, клали цветы к подножию мадонны и, прижавшись друг к другу, подолгу стояли молча. Чаще всего я видел лишь их согбенные спины и низко опущенные седые головы. Какое горе согнуло этих бедно одетых людей, о чем они просили каменную мадонну кто знает? Может, они потеряли любимого сына или, скошенная неизлечимой болезнью, умирала их единственная дочь? А может, кто-то жестоко обидел беззащитных стариков, или остались они, никому не нужные, без кровли и без куска хлеба? Широким и глубоким, как море, бывает горе людское, и чаще всего остается оно немым...

Свершив свою безмолвную молитву, старики каждый день проходили мимо моей скамьи и ни разу на меня не взглянули. А я после их ухода долго смотрел на раскрашенную мадонну, и странные мысли одолевали меня.

«Тебя, женщину по имени Мария, люди назвали матерью божьей, — думал я. — Люди поверили, что ты, непорочная, родила им спасителя-бога, принесшего себя в жертву и распятого за людские грехи. И люди сложили в твою честь песнопения-молитвы и стали именовать тебя владычицей и госпожой, без искуса мужеска зачавшей, присноблаженной, невестой неневестной. Богородительница, царица небесная, приснодева, пречистая, источник живота родшая, богоизбранная, предстательница, заступница благодатная, богоневестная мать — так называют тебя люди. Они построили тебе великолепные храмы, и самые великие художники мира украсили эти храмы твоим изображением. Голову твою и голову твоего младенца-сына окружили сияющим нимбом святости. Искусные златокузнецы и мастера-бриллиантщики одели тебя и сына драгоценными ризами икон. Лик твой, дева Мария, запечатлели на храмовых хоругвях, на бармах — царском оплечье, в священных книгах и гравюрах, и рыцари-

крестonosцы и полководцы-воители, отправляясь на битву, преклоняли колени перед тобой. Именем твоим отцы-инквизиторы судили мужчин и женщин, именуя несчастных еретиками-отступниками и живьем сжигая их на кострах...»

В густых ветвях клена тенькала синица, пестрые дрозды носились среди пихт и сосен. Золотыми отсветами солнца переливался, мерцал внизу древний город. В небесной синеве плыли редкие белые облака.

Неподвижными, кукольными глазами смотрела мадонна на меня, на деревья, на город. У ее ног лежали оставленные стариками цветы, и от них струился еле уловимый, грустный, легкий запах увядания.

«За что, женщина, люди поклоняются тебе? — мысленно спрашивал я, всматриваясь в бледно-желтое лицо мадонны, в кукольные глаза ее. — Ведь ты никогда не жила на свете. Ты выдумана людьми. А если даже ты была, Мария, то что тобой свершено в жизни и чем заслужила ты поклонение? Если верить евангелистам, ты вышла замуж за плотника, неизвестно от кого родила сына и потеряла его, распятого на кресте. Смерть сына — тяжелое, неизбывное горе для матери. Но разве нет на земле матерей человеческих, испытавших более страшные удары судьбы, чем те, которые ниспосланы были тебе? Кто же измерит их горе? Кто исчислит все их утраты? Кто им воздаст за их неустанный труд, за любовь к людям и милосердие, за материнское терпение, за пролитые ими слезы, за все, что пережили они и свершили во имя жизни на любимой ими нелегкой земле?»

Так думал я, всматриваясь в раскрашенное лицо каменной девы Марии, и в этот миг вдруг вспомнил женщину, которую не смел, не имел права забыть. Однажды, в годы войны, наши пути с ней случайно пересеклись, и теперь, спустя много лет, я не могу не рассказать о ней людям...

* * *

В эту сентябрьскую ночь небо вздрагивало, билось в частой дрожи, багряно светилось, отражая полыхавшие внизу пожары, и не было на нем видно ни луны, ни звезд. Над глухо гудящей землей громыхали ближние и дальние пушечные залпы. Все вокруг было залито неверным, тусклым медно-красным светом, отовсюду

слышалось зловещее урчание, и со всех сторон напоздали невнятные, пугающие шумы...

Прижавшись к земле, Мария лежала в глубокой борозде. Над ней, едва различимая в смутном полумраке, шуршала, покачивала высохшими метелками густая чаща кукурузы. Кусая от страха губы, закрыв уши руками, Мария вытянулась в ложбине борозды. Ей хотелось втиснуться в затвердевшую, поросшую травой пахоту, укрыться землей, чтоб не видеть и не слышать того, что творилось сейчас на хуторе.

Она легла на живот, уткнулась лицом в сухую траву. Но долго лежать так ей было больно и неудобно — беременность давала о себе знать. Вдыхая горьковатый запах травы, она повернулась на бок, полежала немного, потом легла на спину. Вверху, оставляя огненный след, гудя и высвистывая, проносились реактивные снаряды, зелеными и красными стрелами пронзали небо трассирующие пули. Снизу, от хутора, тянулся тошнотворный, удушливый запах дыма и гари.

— Господи, — всхлипывая, шептала Мария, — пошли мне смерть, господи... Нет у меня больше сил... не могу я... пошли мне смерть, прошу тебя, боже...

Она поднялась, стала на колени, прислушалась. «Будь что будет, подумала она в отчаянии, — лучше помереть там, со всеми». Подождав немного, оглядываясь по сторонам, как затравленная волчица, и ничего не видя в алом, шевелящемся мраке, Мария поползла на край кукурузного поля. Отсюда, с вершины покатога, почти не приметного холма, хутор был хорошо виден. До него было километра полтора, не больше, и то, что увидела Мария, пронизало ее смертным холодом.

Все тридцать домов хутора горели. Колеблемые ветром косые языки пламени прорывались сквозь черные клубы дыма, вздымали к потревоженному небу густые россыпи огненных искр. По освещенной заревом пожара единственной хуторской улице неторопливо ходили немецкие солдаты с длинными пылающими факелами в руках. Они протягивали факелы к соломенным и камышовым крышам домов, сараев, курятников, не пропуская на своем пути ничего, даже самого завалящего катушка или собачьей конуры, и следом за ними вспыхивали новые космы огня, и к небу летели и летели красноватые искры.

Два сильных взрыва потрясли воздух. Они следовали один за другим на западной стороне хутора, и Мария поняла, что немцы взорвали новый кирпичный коровник, построенный колхозом перед самой войной.

Всех оставшихся в живых хуторян — их вместе с женщинами и детьми было человек сто — немцы выгнали из домов и собрали на открытом месте, за хутором, там, где летом был колхозный ток. На току, подвешенный на высоком столбе, раскачивался керосиновый фонарь. Его слабый, мигающий свет казался едва заметной точкой. Мария хорошо знала это место. Год тому назад, вскоре после начала войны, она вместе с женщинами из своей бригады ворошила на току зерно. Многие плакали, вспоминая ушедших на фронт мужей, братьев, детей. Но война им казалась далекой, и не знали они тогда, что ее кровавый вал докатится до их неприметного, малого, затерянного в холмистой степи хутора. И вот в эту страшную сентябрьскую ночь на их глазах догорал родной хутор, а сами они, окруженные автоматчиками, стояли на току, словно отара бессловесных овец на тырле, и не знали, что их ждет...

Сердце Марии колотилось, руки дрожали. Она вскочила, хотела кинуться туда, на ток, но страх остановил ее. Попятившись, она снова приникла к земле, впилась зубами в руки, чтобы заглушить рвущийся из груди истошный крик. Так Мария лежала долго, по-детски всхлипывая, задыхаясь от едкого, ползущего на холм дыма.

Хутор догорал. Стали стихать оружейные залпы. В потемневшем небе послышался ровный гул летящих куда-то тяжелых бомбардировщиков. Со стороны тока Мария услышала надрывный женский плач и короткие, злые выкрики немцев. Сопровождаемая солдатами-автоматчиками нестройная толпа хуторян медленно двинулась по проселочной дороге. Дорога пролегла вдоль кукурузного поля совсем близко, метрах в сорока.

Мария затаила дыхание, приникла грудью к земле. «Куда ж они их гонят? — билась в ее воспаленном мозгу лихорадочная мысль. — Неужто расстреливать будут? Там же малые дети, ни в чем не повинные женщины...» Широко открыв глаза, она смотрела на дорогу. Толпа хуторян брела мимо нее. Три женщины несли на руках грудных детей. Мария узнала их. Это были две ее соседки, молодые солдатки, мужья которых ушли на фронт перед самым

приходом немцев, а третья — эвакуированная учительница, она родила дочку уже здесь, на хуторе. Дети повзрослее ковыляли по дороге, держась за подола материнских юбок, и Мария узнала и матерей и детей... Неуклюже прошагал на своих самодельных костылях дядя Корней, ногу ему отняли еще в ту германскую войну. Поддерживая друг друга, шли двое ветхих стариков-вдовцов, дед Кузьма и дед Никита. Они каждое лето сторожили колхозную бахчу и не раз угощали Марию сочными, прохладными арбузами. Хуторяне шли тихо, и лишь только кто-нибудь из женщин начинал громко, навзрыд плакать, к ней тотчас же подходил немец в каске, ударами автомата сбивал ее с ног. Толпа останавливалась. Ухватив упавшую женщину за ворот, немец поднимал ее, быстро и сердито лопотал что-то, указывая рукой вперед...

Всматриваясь в странный светящийся полумрак, Мария узнавала почти всех хуторян. Они шли с корзинками, с ведрами, с мешками за плечами, шли, повинуюсь коротким окрикам автоматчиков. Никто из них не говорил ни слова, в толпе слышался только плач детей. И лишь на вершине холма, когда колонна почему-то задержалась, раздался душераздирающий вопль:

— Сволочи! Пала-а-чи! Фашистские выродки! Не хочу я вашей Германии! Не буду вашей батрачкой, гады!

Мария узнала голос. Кричала пятнадцатилетняя Саня Зименкова, комсомолка, дочка ушедшего на фронт хуторского тракториста. До войны Саня училась в седьмом классе, проживала в школьном интернате в далеком районном центре, но школа уже год не работала, Саня приехала к матери и осталась на хуторе.

— Санечка, чего это ты? Замолчи, доченька! — запричитала мать. Прошу тебя, замолчи! Убьют они тебя, деточка моя!

— Не буду молчать! — еще громче крикнула Саня. — Пускай убивают, бандиты проклятые!

Мария услышала короткую автоматную очередь. Хрипло заголосили женщины. Лающими голосами закаркали немцы. Толпа хуторян стала удаляться и скрылась за вершиной холма.

На Марию навалился липкий, холодный страх. «Это Саню убили», молнией обожгла ее страшная догадка. Она подождала немного, прислушалась. Человеческих голосов нигде не было слышно, только где-то в отдалении глуховато постукивали пулеметы. За перелеском, восточное хутора, то здесь, то там

вспыхивали осветительные ракеты. Они повисали в воздухе, освещая мертвым желтоватым светом изуродованную землю, а через две-три минуты, истекая огненными каплями, гасли. На востоке, в трех километрах от хутора, проходил передний край немецкой обороны. Вместе с другими хуторянами Мария была там: немцы гоняли жителей рыть окопы и ходы сообщения. Извилистой линией они вились по восточному склону холма. Уже много месяцев, страшась темноты, немцы по ночам освещали линию своей обороны ракетами, чтобы вовремя заметить цепи атакующих советских солдат. А советские пулеметчики — Мария не раз видела это трассирующими пулями расстреливали вражеские ракеты, рассекали их, и они, угасая, падали на землю. Так было и сейчас: со стороны советских окопов затрещали пулеметы, и зеленые черточки пуль устремились к одной ракете, ко второй, к третьей и погасили их...

«Может, Саня живая? — подумала Мария. Может, ее только ранили и она, бедненькая, лежит на дороге, истекает кровью?» Выйдя из гущины кукурузы, Мария осмотрелась. Вокруг — никого. По холму тянулся пустой затравевший проселок. Хутор почти догорел, лишь кое-где еще вспыхивало пламя, да над пепелищем мельтешили искры. Прижимаясь к меже на краю кукурузного поля, Мария поползла к тому месту, откуда, как ей казалось, она слышала крик Сани и выстрелы. Ползти было больно и трудно. На меже сбились согнанные ветрами жесткие кусты перекати-поля, они кололи колени и локти, а Мария была босиком, в одном старом ситцевом платье. Так, раздетой, она минувшим утром, на рассвете, убежала с хутора и теперь проклинала себя за то, что не взяла пальто, платок и не надела чулки и туфли.

Ползла она медленно, полуживая от страха. Часто останавливалась, вслушивалась в глухие, утробные звуки дальней стрельбы и снова ползла. Ей казалось, что все вокруг гудит: и небо, и земля, и что где-то в самых недоступных глубинах земли тоже не прекращается это тяжкое, смертное гудение.

Саню она нашла там, где и думала. Девочка лежала, распростертая, в кювете, раскинув худые руки и неудобно подогнув под себя босую левую ногу. Еле различая в зыбком мраке ее тело, Мария прижалась к ней, щекой ощутила липкую влажность на теплом плече, приложила ухо к маленькой, острой груди. Сердце

девочки билось неровно: то замирало, то колотилось в порывистых толчках. «Живая!» — подумала Мария.

Оглядевшись, она поднялась, взяла Саню на руки и побежала к спасительной кукурузе. Короткий путь показался ей бесконечным. Она спотыкалась, дышала хрипло, боясь, что вот сейчас уронит Саню, упадет и больше не поднимется. Уже ничего не видя, не понимая, что вокруг нее жестяным шелестом шумят сухие стебли кукурузы, Мария опустилась на колени и потеряла сознание...

Очнулась она от надрывного стога Сани. Девочка лежала под ней, захлебываясь от заполнившей рот крови. Кровь залила лицо Марии. Она вскочила, подолом платья протерла глаза, прилегла рядом с Саней, приникла к ней всем телом.

— Саня, деточка моя, — шептала Мария, давясь слезами, — открой глазки, дите мое бедное, сиротиночка моя... Открой свои глазоньки, промолви хоть одно словечко...

Дрожащими руками Мария оторвала кусок своего платья, приподняла Санину голову, стала вытирать клочком застиранного ситца рот и лицо девочки. Прикасалась к ней бережно, целовала солоноватый от крови лоб, теплые щеки, тонкие пальцы покорных, безжизненных рук.

В груди у Сани хрипело, хлюпало, клокотало. Поглаживая ладонью детские, с угловатыми колонками ноги девочки, Мария с ужасом почувствовала, как холодеют под ее рукой узкие ступни Сани.

— Прокинься, деточка, — стала молить она Саню. — Прокинься, голубочка... Не умирай, Санечка... Не оставляй меня одну... Это я с тобой, тетя Мария. Слышишь, деточка? Мы же с тобой только двое остались, только двое...

Над ними однообразно шелестела кукуруза. Утихли пушечные залпы. Потемнело небо, лишь где-то далеко, за лесом, еще содрогались красноватые отсветы пламени. Наступил тот предутренний час, когда убивающие друг друга тысячи людей — и те, кто, подобно серому смерчу, неся на восток, и те, кто грудью своей сдерживал движение смерча, утомились, устали корезить землю минами и снарядами и, одуревшие от грохота, дыма и копоты, прекратили страшную свою работу, чтобы отдышаться в окопах, отдохнуть немного и вновь начать трудную, кровавую жатву...

Саня умерла на рассвете. Как ни старалась Мария согреть смертельно раненную девочку своим телом, как ни прижималась к ней горячей своей грудью, как ни обнимала ее — ничего не помогло. Похолодели Санины руки и ноги, замолкло хриплое клокотание в горле, и вся она стала застывать.

Мария закрыла Сане чуть приоткрытые веки, сложила на груди исцарапанные, со следами крови и лиловых чернил на пальцах, одеревеневшие руки и молча села рядом с мертвой девочкой. Сейчас, в эти минуты, тяжкое, неутешное горе Марии — смерть мужа и малого сына, два дня назад повешенных немцами на старой хуторской яблоне, — как бы уплыло, заволоклось туманом, сникло перед лицом этой новой смерти, и Мария, пронзенная острой внезапной мыслью, поняла, что ее горе только невидимая миру капля в той страшной, широкой реке горя людского, черной, озаренной пожарами реке, которая, затапливая, руша берега, разливалась все шире и шире и все быстрее стремилась туда, на восток, отдаляя от Марии то, чем она жила на этом свете все свои недолгие двадцать девять лет...

Утро наступало медленно. Нехотя забрезжила бледная, размытая заря. Низко, с гортанным карканьем, над кукурузой пролетела стая ворон. Тронутые холодной росой, притихли, вяло обвисли влажные кукурузные метелки. Со стороны окопов доносились глуховатые винтовочные выстрелы и редкие пулеметные очереди.

Обхватив колени руками, Мария смотрела на мертвую Саню. Нос девочки уже заострился, лоб и щеки отливали матовой восковой желтизной. На отвисшем подбородке и на левой щеке засохли темные пятна крови. Прядка белесых волос прилипла к виску.

— Сейчас я обряжу тебя, бедная ты сиротиночка, — тихо проговорила Мария, — и личико твое обмою, и косички заплету, и ротик твой закрою... Трудно мне будет выкопать тебе могилку, дитя мое несчастное, нет у меня ни лопаты, ни ломика...

Марию бил озноб. Она зябко поводила плечами, шептала слова, не вникая в их смысл. Тронув рукой пожелтевшую руку Сани, сказала, словно обращалась к живой:

— Пальцы-то у тебя в чернилах, девчоночка... хоть школу вашу закрыли, а грамотной ты хотела быть... Учительницей быть хотела. Не довелось тебе выучиться...

На увядших космах пырея, который обильно покрыл междурядья неполотой кукурузы, лежала утренняя роса. Мария поднялась, омыла росой липкие грязные руки, оторвала от подола платья тряпицу и, увлажнив ее росой, стал отмывать от крови застывшее лицо Сани. Потом она осторожно подтянула тряпицей отвисший подбородок девочки, концы мокрой тряпицы подвязала на темени, стала поправлять ее светлую косу и вскрикнула от жгучего укола в палец. Высосала выступившую на пальце капельку крови. Осторожно перебрала растрепанную косичку умершей и нашла запрятанный в волосах значок с отогнувшейся острой застежкой.

Мария подержала значок на ладони. На его алой эмали блестел профиль Ленина. Мария заплакала.

— Вот, товарищ Ленин, — сказала она, давясь слезами, — вот чего сделали с людьми, с бедной Санечкой, со мною... Куда мне теперь податься, товарищ Ленин? Скажите, дайте мне ответ, Владимир Ильич, научите меня... Отец мой, и мать моя, и муж мой, и сыночек мой малый жизни лишились, и осталась я на белом свете одна...

Долго убивалась Мария, долго плакала, всхлипывая и причитая, потом упала ничком на пахоту, и ей показалось, что она летит куда-то вниз, в черную бездну. Над ней, будто короткий грозовой гром, со свистящим подвыванием совсем низко пронеслись самолеты-штурмовики. Мария очнулась. Алый значок она приколотла к темному, затвердевшему от крови платишку Сани, отошла немного и, опустившись на колени, стала рыть могилу.

В эту осень дождей было мало, поросшая сорняками пахота затвердела. Мария рыла по-собачьи, с трудом подгребая под себя сухую, комковатую землю. У нее заболели пальцы, у ногтей появились болючие, кровоточащие заусеницы. Она села, вытерла пот. Подумав, оторвала от подола еще одну длинную тряпицу, разделила на десять равных лент. Теперь ее застиранное, захлюстанное росой платье превратилось в лохмотья. Помогая себе зубами, Мария туго забинтовала и завязала пальцы. Ей нестерпимо хотелось пить, но воды не было. Она пожевала влажную траву, с отвращением выплюнула горький зеленоватый комок и снова стала копать, углубляя яму.

Подумав о том, что надо знать длину могилы, чтобы не копать лишнего, она подошла к Сане, четвертями измерила ее неподвижное, вытянутое тело. Получилось семь с половиной четвертей. Она отметила вдоль ямы девять. «Так, — подумала, — ей не будет тут тесно». Потом снова стала на колени, продолжая рыть могилу.

Где-то на западе послышался ровный, невнятный гул. Тяжкий гул нарастал. Мария легла, приложив ухо к земле. Земля глухо, утробно гудела. Мария поняла: по дороге вдоль хутора идут немецкие танки. Она видела их однажды, грузные, пышущие жаром громадины с черными крестами и чужими непонятными буквами на боках и на башнях. «Подавят они наших, — с тоской и страхом подумала Мария, — захоронятся в лесу, потом выскочат и начнут давить». Не успела она так подумать, как вдруг из-за леса загрохотали беспорядочные залпы пушек. Над головой Марии с воем, с диким, пронзительным шелестом стали проноситься снаряды. Они рвались в той стороне, откуда слышался грозный скрежет танков. Три снаряда разорвались где-то совсем близко, на кукурузном поле. Воздушная волна отбросила Марию и мертвую Саню к самой меже...

В ушах у Марии звенело. Глаза запорошило пылью. Бурая пыль облаком колебалась над кукурузой, застилая солнце. Тело Сани, такое же прямое и неподвижное, лежало неподалеку. Как видно, залпы советских пушек не смогли задержать движение танков, теперь они рычали у самого леса.

Мария подождала немного, протерла глаза, подошла к Сане, обобрала вокруг нее сбитые взрывами сухие кусты перекасти-поля, взяла труп девочки на руки и понесла к недорытой могиле. Могилу рыла до самого подвечерья, вслушиваясь в отдаленную трескотню пулеметов, в редкие выстрелы пушек и разрывы мин. Руки у нее разламывались от усталости и боли, во рту пересохло, но роса давно сошла, и ей нечем было утолить жажду.

На закате солнца Мария подтащила тело Сани к могиле, опустила в яму ее босые ноги, поцеловала в лоб, оправила труп в глубине ямы. Плакать Мария уже не могла.

— Прощевай, деточка, — хрипло сказала она, — пусть земля тебе будет пухом...

Изорванное платье Марии было мокрым от пота. Солнце зашло, потянуло прохладой. Мария стала дрожать от озноба. С

лихорадочной быстротой, чтобы успеть до темноты, она стала обрывать с кукурузных початков сухие, шуршащие листья и таскать их в борозду. Рук она уже почти не чувствовала, но продолжала рвать, надеясь на то, что в ворохе листьев сможет укрыться от ночного холода. Ей очень хотелось есть, но, кроме перезрелых, твердых, как камень, початков, вокруг ничего не было. С трудом разломив пополам длинный початок, она стала выгрызать на сломе жесткие зерна, раскусывала их, ворочала во рту, но они застревали в горле, вызывали кашель и тошноту.

Разбитая, обессиленная, она прилегла на ворох кукурузных листьев, стала умащиваться, укрываться с боков и сверху. Долго ворошила, перекладывала листья, охапку положила под голову, другую нагребла на себя, свернулась на боку, подтянув колени к самому подбородку, и затихла. Уснула она не сразу, долго всхлипывала, прерывисто дышала, на короткое время ее охватывало полузабытье, и она отдыхала. Только к полуночи вконец измаянную Марию охватил спасительный сон... В эти недолгие часы перед ней в отрывочных, то сладких, то горестных сновидениях промелькнула почти вся ее жизнь...

Ей снилось, что она летит по теплому весеннему воздуху над зелеными, испещренными темными межами полями и у самой дороги узнает свое поле, на котором стоит ее отец, не такой худой, заросший рыжеватой щетиной, каким он был, когда его расстреливали белогвардейцы, а совсем молодой и красивый. Ветер шевелит его кудрявые волосы, он машет рукой, зовет Марию к себе, а она улыбается и не хочет спускаться на землю, потому что ей приятно, не чувствуя веса своего тела, легкой птицей парить над землей, видеть голубой извив речушки, и вербы на берегах, и стога сена, и белые, будто игрушечные, домики хутора...

Потом, после какого-то темного, томительного провала, Мария вдруг увидела пламя. Она застонала во сне, подумав, что это горит хутор, но это было пламя пионерского костра на берегу речки, и вокруг костра танцевали мальчики и девочки в красных галстуках, и она сама, двенадцатилетняя Маша, тоже держала кого-то за руку, пела веселую песню, и ей было так радостно и хорошо, что она хотела обнять всех: и учителей, стоявших под вербой, и высокого, ладного пионервожатого Ваню, который позже, через шесть лет, стал ее мужем, и хуторских мальчишек и девчонок, здоровых, румяных, чисто одетых. Они все смеялись, пели,

плясали, и все увидели, как на востоке, за речкой, за зелеными лугами, теплая, лучистая, загорается алая утренняя заря. Но оказалось, что это вовсе не заря, а огромный, прозрачный, охвативший полнеба значок, и оттуда, из алой зари, — все увидели — улыбается живой Ленин...

Ночной холод разбудил Марию. Она проснулась, всмотрелась в звездное небо, еще не понимая, где она и что с ней произошло, а когда то страшное, что она пережила, дошло до ее сознания и Мария поняла, что нет ни пионерского костра, ни учителей, ни мужа Ивана, а есть только дотла сгоревший хутор, убийства и смерть, она упала, зарыла лицо в холодные кукурузные листья и забилась в безудержном плаче.

Мария не знала, что за те два-три часа, пока она спала, вражеские танки прорвали за речкой слабую линию советской обороны, выбили советских солдат из окопов и, сопровождаемые пехотой и самоходной артиллерией, устремились на восток. Все более отдаленными и глухими стали пушечные залпы, а взрывы мин и пулеметные очереди уже не были слышны совсем. Только на дальней шоссейной дороге — она проходила севернее хутора, километрах в пятнадцати, — до слуха Марии едва доносилось невнятное урчание грузовиков, да изредка пролетали почти невидимые в темноте немецкие ночные бомбардировщики. Мария не знала и не могла знать, что здесь, на неубранном кукурузном поле, она осталась одна в глубоком немецком тылу, что фронт все дальше откатывается на восток, что все окрестные хутора по приказу немецкого командования сожжены дотла, а уцелевшее после зверских казней их население угнано в Германию. И не осталось в этих глухих местах ни одного живого человека, кроме нее, Марии...

Вздрагивая от рыданий, страшаясь темноты, Мария снова зарылась в листья и, согревшись, уснула. И снова ей снились разрозненные обрывки ее жизни: давние похороны матери, лунная ночь в майском лесу и жаркие объятия Ивана; веселая пора сенокоса, узкое займище по обе стороны речушки, дурманящий запах срезанных косами трав; то она видела себя одетой в белое платье восемнадцатилетней невестой и сладко замирала от первого на людях поцелуя милого и желанного своего Вани; то слышались ей громкие споры и ругань хуторских мужиков в тот памятный вечер, когда районный уполномоченный предложил всем вступить

в колхоз; то мучилась она от свирепого зимнего холода и проклинала дырявый колхозный коровник, и председателя, который не хотел чинить крышу, и дойку коров, от которой у нее опухли руки...

Разбудило Марию стрекотание сорок. Она открыла глаза и, не шевелясь, смотрела на птиц. Две сороки сидели, покачиваясь, на чуть склоненных стеблях кукурузы и о чем-то разговаривали. Марию поразили тишина и эти живые птицы, которых она не видела уже три дня. Где-то очень далеко ухали пушки. Солнце осветило кукурузные метелки. Трава в междурядьях казалась серебряной от обильной росы. Разворошив листья, Мария села. Сороки тотчас же улетели.

Жажда и голод ослабили Марию. Она поднялась и тотчас почувствовала противную тошноту и головокружение. «Что делать? — подумала Мария. Куда идти?» Она вспомнила, что рядом с кукурузным полем колхозники сажали поздний картофель, свеклу и капусту. Все это осталось неубранным. «Пойду туда, — решила Мария, — иначе я помру». Затравленно оглядываясь, стараясь не касаться стеблей кукурузы, чтобы шелест сухих листьев не выдал ее, она медленно пошла к западной меже поля...

Небольшая, кареглазая, с едва заметными конопинками на носу, она шла, переваливаясь, полуголая, едва прикрытая оборванными, пожухшими от крови лохмотьями. В разметавшихся по плечам каштановых ее волосах топорщились кукурузные листья, ломкие стебельки полыни; полные, округлые икры маленьких босых ног были исцарапаны, покрыты ссадинами.

Выйдя на межу, она осмотрелась и, страшась встречи с немцами, поползла между рядами картофельной ботвы. Не поднимая головы, стала рукой подрывать куст картофеля. Израненные пальцы нестерпимо болели, но она все же вырыла две картофелины, потеряла их между ладонями, чтобы очистить от комочков сухой земли, и стала с жадностью есть. Пресная мякоть картофеля не утолила голода, только вызвала острую резь в желудке.

Мария прилегла в борозде, закинула руки за голову, закрыла глаза. Изнывая от горя, она вспомнила все, чем жила эти годы и как осталась одна...

В гражданскую войну белогвардейский карательный отряд расстрелял ее отца-коммуниста. Марии было тогда семь лет, но она

помнила, как четверо пожилых бородатых казаков подвели связанного отца к глинобитной стенке соседского сарая, расстреляли, бросили его тело в телегу, забросали навозом и вывезли в поле. Была ранняя весна, слежавшийся за зиму навоз струил прозрачный парок, а тощие лошади долго не могли вытащить из грязи.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.